
ПРИЗРАК
Лина Вей
18+

Лина Вей

Призрак

«Автор»
2026

Вей Л.

Призрак / Л. Вей — «Автор», 2026

Купили дом за бесценок? Значит, цену выставил не человек.Марк, Кира и десятилетняя Лиза приезжают в купеческий городок на Верхней Волге с одной мечтой: тишина, сад, старый дом — начать жизнь заново. Дом им нравится с первого взгляда. Они дому — тоже.В нишах стоят десятки деревянных кукол. Двери приоткрываются сами. По чердаку кто-то ходит — ровно, терпеливо, как будто переставляет вещи. А потом десятилетняя дочь заговаривает с невидимым собеседником, зовёт его «Витя», и Кира узнаёт страшное: под яблоней в саду полвека назад закопали мальчика, задушенного в этом самом доме.Призрак кукольника Молчанова не просто пугает. Он играет с Лизой — так же, как когда-то играл с убитым мальчиком. Он готовит ей место: душу девочки запрут в деревянной кукле, а его самого наконец отпустят. Полвека круг не разомкнут — и Молчанов будет терпеливо ждать, пока кто-то не займёт место его жертвы.

© Вей Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тихий район 5
Глава 2. Голоса в стенах 10
Глава 3. Шаги наверху 14
Глава 4. Прежний жилец 18
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Лина Вей
Призрак

Глава 1. Тихий район

Дорога кончилась так, что это было заметно глазу.

Асфальт ещё держался километров десять, потом превратился в гравийную ленту, а потом и лента сменилась неровной стёсанной колеёй, по которой старый, но ухоженный кроссовер Марка шёл тяжело, как перегруженная лошадь. Навстречу не попалось ни одной машины. Зато каждые три минуты из леса выпрыгивало что-то новое: то столб с облупившейся табличкой «Лесное», то деревянный идол-забавка в три метра высотой — по вырезам было видно, что фигуру смастерили давно и на совесть, а не под туриста. Ощущение было такое, будто они въехали не в другой населённый пункт, а в другой век.

— Папа, а это точно город? — спросила Лиза с заднего сиденья. Она сунулась между креслами и смотрела в лобовое стекло так, как смотрят в кино, когда по сюжету ничего ещё не случилось, но уже интересно.

— Похоже на посёлок, — осторожно сказал Марк.

— Похоже на городок, — поправила Кира и сама на секунду растерялась от того, как легко отлетело у неё это слово. — Городок. Здесь всё-таки был купец. Церковь есть. И даже бульвар.

Бульвар они увидали минутой позже: широкий, заросший одуванчиками, с рядами почерневших от времени двухэтажных домов — с резными наличниками, с мезонинами, с чугунными козырьками над подъездами. Несколько домов были заброшены, но большинство — жилые: на подоконниках стояли горшки с геранью, у одного на бельевой верёвке висели простыни, и ветер надувал их, как паруса.

— Красиво, — сказала Кира тихо, почти себе под нос.

— Красиво, — согласился Марк. Врать ему не требовалось: местечко действительно было красивое. Только почему-то очень, очень тихое.

Это они заметили одновременно и осознать не успели. Лиза успела раньше — у неё, как у всех десятилетних, глаз на всё хватало.

— А где люди? — спросила она. — Здесь совсем людей нет?

По улице, вдоль которой они ехали, тянулась живая, обитаемая сторона: окна, калитки, плетёные качели на крыльце. Но на ней не было ни одной живой души. Никто не загорал, не рубил дрова, не сидел на лавочке, не стоял с ведром у колодца, не выгуливал собаку. Ни одна штора не дрогнула. Ни одна дверь не скрипнула.

— Сядь, пристегнись, — сказал Марк Лизе вместо ответа. Сам он сглотнул что-то в горле, но виду не подал. — Сейчас приедем на место, посмотришь людей.

— А люди будут?

— Будут. Куда они денутся.

Дом нашёлся за городком — точнее, на его дальнем краю, там, где улица с колоннами перетекала в частный сектор, а частный сектор упирался в живую изгородь и поле. Марк остановил машину в конце улицы, среди сорняков и заросшего ириса, и вышел первым.

От вида дома у него что-то отнялось в груди. Не в плохом смысле. Отнялось — и освободилось место.

Дом был большой: два этажа, мезонин, бревенчатый сруб, флигель для хозяйственных нужд, обшитый старой тёсаной доской. Вокруг — разросшийся, почти одичавший сад: старые раскидистые яблони, вишня, заросли малины. Стропила над крыльцом ещё держались, козы-

рёк прикрывал вход, а на самой верхней доске, возможно, ещё в девятнадцатом веке вырезали деревянное солнышко с нехитрыми лучами.

— Ну? — сказал Марк. — Ну?

Кира вышла из машины и не сказала ничего. Она стояла и смотрела на дом, чуть запрокинув голову, и ветер шевелил волосы у её виска, и было видно, что она молчит от переизбытка. Рядом с ней затопала Лиза — сбежала по ступенькам, по траве, к ветхому «актовому» крыльцу, потрогала ладошкой шершавые от солнца доски, подняла с земли изъеденный птицами костяк вишни и сунула в карман.

— Папа! — закричала она с крыльца. — Тут яблоки! Тут яблоки есть!

— Это сад, Лизка, — сказал Марк.

— Там яблоки есть, я видела!

— Их не надо рвать, — уронила Кира, выходя из машины. — Они, может быть, дикие. — И тут же себя за это услышала и осекла.

Это была оговорка. Ни одна из них её не заметила — потому что такие оговорки человек делает только о доме, в который уже влюбился. А от человека, который влюбился, дом для своих целей отбирает всё — начиная с мелочей.

— Чего уставились? — торопливо, будто боясь спугнуть, произнёс Марк. — Идёмте. Смотрите, какой простор!

Дверь была не заперта. Марк толкнул её, она распахнулась с лёгким, почти вежливым скрипом, впустив в прихожую полутёмный коридор, пахнущий сухой пылью, тёплым деревом и какой-то травой, может быть, полынью. Лиза влетела внутрь, как в летний лагерь, и её смех из дальнего конца коридора стал первым звуком, который этот дом слышал, по всей видимости, за последние полвека.

— Лиза, только не убегай далеко! — окликнула Кира.

— Я тут! Тут печка! Тут печка настоящая!

Риелтора звали Пётр Владимирович, и за весь вечер он ни разу не повторил этого имени. Уже при первом телефонном разговоре Марк обратил внимание, что голос у него был ровный, умелый, выстроенный — и в то же время неторопливо грустный. Приехав, он не стал разговаривать — он стал говорить, как диктор: быстро, с расстановкой, с той особой скоростью, с какой перечисляют цифры, которые уже давно не воспринимаются.

— Да, — сказал он. — Да, да. Прошлый хозяин жил один. Давно. Ключи передаю вам, оговорка только: банк готовит оценку по рынку. С учётом того, что дом без наследников, без зарегистрированных лиц, без обременений, цена вам выйдет ниже рыночной. За бесценок. Как есть.

— Понимаю, — сказал Марк. — А почему… — он запнулся, подбирая правильное слово, — почему так дёшево?

— Регион, — легко сказал Пётр Владимирович. — В этом регионе дёшево.

Это было ложью. Марк это понимал: неподалёку шли другие города, где такие дома продавались вчетверо дороже. Но на ложь не настаивали — не по вежливости, а потому что у покупателя не хватило бы духа спросить вслух то, что спрашивали глаза.

— А соседи? — спросила Кира, оглядываясь по сторонам.

— Соседи — люди, — сказал риелтор.

Это был ответ, из которого ничего нельзя было вытащить. Он не соврал: соседи действительно были люди. Он не сказал: добрые ли они, простые ли, хотят ли они знать про новых жильцов иные подробности, к которым давно привыкли за годы своей жизни на этой земле.

Риелтор потоптался у порога. Затем полез в карман, достал оттуда не визитку, не ручку, а пачку папирос, вынул одну, закурил на крыльце — что для людей его профессии было почти немыслимо: они, как правило, следят, чтобы от них не пахло. Потом смял папиросу в кулаке и затоптал её подошвой, как будто не она, а пол крыльца был виноват.

— Давно вы этим занимаетесь? Сколько людей вы сюда возили? — спросил Марк, выходя к нему.

— Я? — Риелтор помолодел. — Год назад здесь никто не вселялся. Ещё раньше — я в этот район и не ездил. И я никого сюда не возил.

— А почему?

— Дорога дальняя, — ответил Пётр Владимирович. Он говорил неправду так буднично, что ложь не могла возбудить подозрения. Но запнулся он всё-таки не на этом, а на том, что сказал дальше, — запнулся, поднял глаза и, будто заглянув куда-то внутрь себя, где это было спрятано, сказал:

— Вы всё же не оставляйте её одну.

— Кого — её? — не поняла Кира.

— Лизу. Вашу дочку, — сказал риелтор. — Не оставляйте её одну в доме. На ночь. — И тут же очнулся, спохватился, одёрнул лицо профессиональной маской: — Ну, старый дом. Перила. Лестницы. Дети, знаете…

— Знаем, — сказал Марк.

Риелтор отдал ключи — их было два: один с бородкой, старый, вытравленный, второй — современный, с чёрной бусиной-брелоком. Взяв документы, Марк поставил подпись торопливо, как ставят подпись на квитанции в столовой, чтобы не возвращаться к окну. Риелтор прицокнул языком, ещё раз осмотрелся по сторонам, повесил сумку на плечо и замер у машины, будто вспомнил что-то и не знал — говорить ли.

— По правде? — сказал он.

— По правде, — сказал Марк.

— Я вам к слову сказал, — произнёс Пётр Владимирович тихо, глядя куда-то в сторону сада, где между стволами яблонь лежали длинные тени. — Это всё старое. Что ни говорите — всё старое. Я вам не советчик. Но дом этот стоял пустой, непродажный. И люди к нему не подходили. — Он запнулся. — И вы, если можно, к соседям не лезьте. Со своими вопросами. Сами поймёте.

Он не досказал — и поехал. Марк смотрел вслед машине, пока она не завернула за угол. Вся дорога заняла у неё секунд тридцать. Он стоял и смотрел, как вдали на повороте накренился и пропал хвостик дыма из выхлопной трубы, а потом как вчерашний лист вишни, сорвавшись с ветки, полетел через дорогу, накренился и пропал в траве.

— Ну вот, — сказала Кира за его спиной. — Купили.

— Купили.

— За бесценок.

— За бесценок.

Она не спросила, о чём предупреждал их риелтор. Он не спросил, видела ли она, как тот курил на крыльце. Это молчание было взаимной уступкой: каждый знал, что второй что-то видел и не сказал.

Через час Марк вышел прогуляться — посмотреть на улицу, замерить расстояния, разобраться, что есть что вокруг. Лиза осталась с Кирой в доме, в котором, к счастью, нашлась вода — старая, тёплая, с запахом, но вода; и электричество, которое загорелось только со второй попытки, вспыхнув лампочками по этажам поочерёдно, как будто дом зажигал их одно за другим — вспоминал, где у него что.

Улица была пуста. Идеально пуста. Марк прошёл квартал — ни одной живой души, ни одной собаки, ни одного кота. Только на одной из веранд, за столиком, где стояла стопка непочатых пиал, само собой качалось пустое кресло-качалка — на нём, вероятно, теперь сидели мухи.

На обратном пути он встретил первого человека — бабушку в косынке, которая поливала водой нечто похожее на огород перед своим домом. Увидев Марка, она не испугалась,

не ахнула, не отвернулась — она сделала ровно одно, очень выверенное движение: поставила лейку на землю, повернулась к нему спиной, поднялась на крыльцо и закрыла окно и ставни. Оттуда, изнутри, был слышен щелчок замка — короткий, точный и без злобы, как закрывают дверь, за которой никого не должно остаться.

Марк пошёл дальше. У следующего дома то же самое повторилось почти синхронно: из окна, где сидел мужчина в майке и смотрел телевизор, послышался приглушённый звук передачи, а затем и самого телевизора — стук-стук-стук, — и штора с сухим скрипом опустилась, как опускают занавес. И окна зашумели: стук-стук, стук-стук, — это закрывались ставни. Ритм был ровный, неистовый, как будто по улице прокатилась одна волна: люди, что-то услышав, закрыли все окна за своей спиной, не поворачиваясь, не глядя, не разговаривая.

Марк остановился посреди улицы.

Он не был трусом. Он был, скорее, человеком, который привык к тому, что мир логичен, и чужая нелогичность вызывала у него не страх, а неудобство — как несоответствие в бухгалтерском отчёте. Он стоял и слушал тишину — она не наступила, она была здесь и раньше, просто до этого момента он её не считал, как не считают тишины в военной части, — и понимал, что она устроена не так. В ней было движение. В ней было дыхание. Она была не пустой, а наполненной — и наполненной ровно тем, от чего эти люди прятались, закрывая окна.

Он дошёл до конца квартала — до того места, где улица упиралась в пустырь, за которым начиналось поле, — и уже развернулся, чтобы идти домой, когда с крыльца самого крайнего дома, где никто не закрывал окон, вдруг окликнули его:

— Вы к Молчановым въехали?

На крыльце стоял старик — длинный, узкий, в кепке и с палочкой. Опирался на неё по-стариковски, но смотрел, как смотрят не старики.

— Да, — сказал Марк. — Купили сегодня. А вы знакомы с прошлым хозяином?

— С хозяином? — Старик засмеялся — коротко, почти сердито. — Нет. Мы с ним не знакомы. Ни один из нас.

— А кто жил до вас?

— Никто не жил. — Он помолчал и добавил: — И никто не будет, пока вы не уйдёте.

— Простите?

— Пока вы, — повторил старик и посмотрел на Марка долгим взглядом, из которого нельзя было ничего взять, — пока вы не уйдёте. Но вы, я вижу, уйдёте не скоро.

И он ушёл — сделал то же движение, что и все остальные: повернулся спиной, вернулся в дом и закрыл за собой окно. Ставня захлопнулась с сухим стуком — и Марк остался один на пустой улице, в наступающих сумерках, под старым фонарём, который почему-то не загорался.

Кира была в прихожей — она ходила по дому, распаковывала коробки, находила их в старых комнатах, где полвека стояла пыль, и пыль поднималась в воздух и дрожала в косых столбах предзакатного света. Марк никогда не видел её такой — молодой, босой, с волосами, заколотыми карандашом, с пыльными отпечатками ладоней на джинсах. Она ходила по комнатам, как по своему будущему. Он почти забыл про улицу.

— Слышала? — спросил он тихо.

— Что? — Она оглянулась.

— Ничего, — сказал он. — Тишина.

Он не сказал ей про старика. Не потому что не хотел — потому что не знал, как назвать это словами, чтобы не испугать. А через минуту он и сам успел поверить, что ничего не было: устал, вымотался за дорогу. Может, старики просто стеснительные. Может, вся эта местность стеснительная. Может, так и живут люди в тихих местах — закрывают окна, когда проходят мимо.

А потом из дальней комнаты, где Лиза до сих пор пересчитывала и перетаскивала коробки, донёсся её голос — звонкий, радостный, без всякой нотки страха:

— Мама! Папа! Тут кукла! Тут кукла в кукольном домике! Она умеет открывать глаза! Папа, иди посмотри!

Дети видят то, что спрятано от взрослых: под кроватью, в шкафу, под лестницей. Они находят. И они зовут.

Марк и Кира переглянулись. И в этой переглядке не было ни страха, ни сомнения — было только одно чувство, общее, тёплое, то самое, ради которого они вообще сюда приехали. Они пошли смотреть куклу.

За окном, тем временем, село солнце — и зашло оно как-то вдруг, без обычного предзакатного пламени, которое растягивается на час: как будто село не постепенно, а разом, уйдя с неба целиком. И городок за спиной, и дом вокруг, и весь этот старый, тихий, красивый край окутала темнота — быстрая, решительная, без всякой растяжки.

На калитке, которая час назад была приоткрыта, звякнул засов.

Но это заметила только Лиза.

Глава 2. Голоса в стенах

Утро следующего дня началось со звона.

Лиза нашла его раньше всех: маленький, тонкий, стеклянный — она ходила по дому с чашкой в руке и звенела в неё ложкой, и от этого звона дом, кажется, просыпался вместе с ними. Это было хорошо. Звон — это жизнь. Звон — это дети. Звон — это всё, чего здесь не было последние пятьдесят лет, и теперь он стоял в коридоре, как новый жилец, и занимал место.

— Мама! Тут чердак! — донеслось сверху. — Тут чердак, и он огромный!

— Осторожнее там! — крикнула Кира, и это был уже двадцатый раз за утро.

Она варила на старой газовой плите кофе — плита загудела сразу, отозвавшись громче, чем говорил риелтор, — и разглядывала дом. Дом принимал её неохотно. Электричество здесь работало через раз: в ванной лампочка горела, а в коридоре — нет; щёлкнешь выключатель в детской — загорается лампа в кабинете. Проводка была старая, где-то довоенная, скрученная руками давно умершего электрика, и Кира стояла перед распределительной коробкой, вскинув брови, и уже мысленно звонила в столичные конторы с запросом «сколько стоит заменить всё».

Марк между тем открыл ставни. Их было много — на каждом окне по паре, тяжёлых, липовых, со старыми железными крюками. Он распахивал их один за другим, и дом наполнялся светом так, как наполняются лёгкие у ныряльщика: рывком, с усилием, но целиком. Везде, куда падал свет, было видно одно и то же.

Куклы.

Они стояли везде.

На буфете в кухне — три: мужичок в картузе, бабка с узелком и девочка с косичками, в расписном сарафане. На подоконнике кабинета — целая семья: дед, бабка, двое детей, собака, — все высотой с ладонь, все вырезаны из липы, потемневшей до цвета крепкого чая. В нише за печью — полка, а на полке ряд в полтора десятка фигурок, выстроенных спина к спине, как пехота. Под лестницей, в простенке, — большая, почти в рост ребёнка, кукла с длинными деревянными руками и спокойным, вырезанным лицом.

Кира досчиталась до тридцати с лишним и перестала считать.

— Это же… мастерская была, — сказала она. — Смотри. Даже инструмент кое-где остался.

И правда: в углу прихожей стоял столярный верстак, к нему были прикручены тиски, а на стене над ним висели резцы — заржавевшие, но в крепких рукоятях. На верстаке лежала недоделанная кукла: туловище уже вырезано, голова намечена, а рук не было. Стружка вокруг неё давно истлела и превратилась в мягкую коричневую труху, в которой — если смотреть долго — начинало казаться, что она дышит.

— Папа! — Лиза сбежала по лестнице с рюкзаком на спине, с распущенными волосами, с огоньком в глазах. — Тут под лестницей большая кукла! Она как тётя! Она стоит и смотрит!

— Смотрит куда? — спросил Марк, сам не зная, зачем спросил.

— На дверь, — сказала Лиза. — Ну, на всех.

К обеду они заметили ещё одно.

Двери.

В этом доме было одиннадцать дверей — Марк пересчитал, когда ходил с блокнотом и прикидывал, что где ставить, — и все одиннадцать были не заперты, а лишь притворены. И все одиннадцать за день успели приоткрыться. Не на всю, не настежь — на ширину ладони. Кира закрывала их, Марк закрывал их, Лиза, подхватив привычку, тоже ходила и закрывала их, задорно, по-хозяйски, с тем особым чутьём, с каким дети закрывают за собой двери — из солидарности с родителями.

Но к вечеру двери снова стояли приоткрытые.

— Сквозняки, — твёрдо сказала Кира.

— Сквозняки, — согласился Марк.

Он и в самом деле чувствовал их: сквозняк шёл где-то в стенах, глубоко, за штукатуркой, как будто дом дышал — вдыхал и выдыхал, медленно, спокойно, как спящий. Один раз, проходя мимо детской, Марк остановился у двери и приложил к стене ладонь. Стена была тёплая. Тёплая, как спина у живого.

Он убрал ладонь и ушёл, ни о чём не подумав — то есть подумав, но не позволив себе додумать.

— Придётся и окна конопатить, и двери подгонять, — продолжала Кира, бодрясь. — Старый дом. Все будут говорить: старый дом — это дорого. У нас было всё прописано в бюджете.

Она говорила так — громко, по-будничному, нарочито, — и Марк понимал, зачем: чтобы наполнить дом звуком. Чтобы слова, обычные, простые, про окна и двери, про деньги и сроки, заполняли собой пространство, в котором иначе было слышно другое. Что слышно — она не знала. Марк не знал. Лиза, возможно, знала. Но Лиза не говорила — пока.

Вечером они собрались в гостиной — самой большой комнате на первом этаже, с изразцовой печью, которая топилась с первой спички. Лиза устроила там штаб из подушек, Кира принесла чай, Марк — ноутбук с фильмом, который они так и не включили, потому что стали разговаривать.

— А кто жил тут? — спросила Лиза, устроившись на подушках. — Тот, который кукол делал?

— Мастер, — сказала Кира. — Кукольник.

— Как звали?

— Молчанов, — сказал Марк. — Григорий Молчанов.

— Молчанов, — повторила Лиза и запомнила. Дети запоминают такие вещи с первого раза, если имя звучит как-то по-особенному. — А он хороший был?

— Не знаем, — честно сказала Кира. — Давно жил.

— А куклы его? Куклы его — хорошие?

— Думаю, что да, — сказал Марк. — Их много, и все разные. Хороший мастер сделал.

Лиза кивнула и замолчала, глядя на полку с куклами — на ту, что через дверной проём была видна из гостиной. Она смотрела туда долго. Потом попросила:

— Папа, а можно мне одну взять? Одну куклу. Чтобы она ждала меня в комнате. Она же тоже будет тут жить.

— Возьми, — разрешил Марк.

— Только не ту, которая большая, — быстро сказала Кира. — Возьми маленькую.

— Ладно, — легко согласилась Лиза, потому что ей всё было равно — важно было само действие.

Она выбрала куколку на буфете: маленькую, с косичками, в расписном сарафане, с милым, простым, вырезанным резцом лицом. Отнесла её в детскую. Поставила на тумбочку у кровати — спиной к кровати, лицом к окну, как стояла она и на буфете. Сказала вслух:

— Вот. Здесь будешь жить.

И легла спать раньше всех.

Они разбирали коробки до полуночи. Кира хлопотала на кухне, Марк — в кабинете, где он к тому моменту нашёл стол, стул и окно и уже приспособил это под рабочее место. Потом им стало тяжело, и они легли. Дом к этому времени притих: лестница не скрипела, двери были закрыты (по крайней мере, оба это видели), свет был выключен, и только в конце коридора, у выхода на чердак, горел оставленный для храбрости маленький ночник — пятнадцать ватт, слабый, жёлтый, почти декоративный.

Первое, что они услышали, — шаги.

Наверху. По чердаку. Мерно, ровно, неспешно — туда-обратно. Шаг, шаг. Пауза. Шаг, шаг.

Марк сел в кровати. Кира села рядом — одновременно с ним, потому что и она услышала.

— Скрипучие перекрытия, — прошептала она.

— Скрипучие, — прошептал он.

Шаг, шаг. Пауза. Шаг, шаг.

Это не было похоже на осадку дерева — осадка короткая, трескучая, неровная. Это было похоже на ходьбу. На ходьбу человека, который знает, куда идёт, и идёт не спеша, потому что время есть.

Марк встал. Взял с прикроватной тумбочки фонарик — тот самый, туристический, яркий — и вышел в коридор. Кира шла за ним в ночной рубашке, с распущенными волосами, бледная в свету ночника, но идущая — потому что оставаться одной, когда другой уходит, было бы хуже.

Чердак был пуст.

Точнее — пуст от людей, но не от тьмы: по брусьям, по коробам, по старой вентиляции он был полон тьмы, и в этой тьме ничего не шевелилось. Марк прошёл его из конца в конец, светя фонариком на балки, ниши, тёмные углы, — и не нашёл ничего. Только под самым дальним окном, куда фонарик упал в последний момент, он увидел на полу то, что заставило его присесть.

Пыль.

Пыль по всему чердаку лежала нетронутой — серой, мягкой, полувековой. Только посреди чердака была прорезана в ней линия следов — маленьких, узких, аккуратных. Босых. Они шли от люка к дальней стене и дальше, к углу, где старый короб пересекался с потолочной балкой. Больше следов не было никуда. Как будто тот, кто их оставил, дошёл до угла и там остановился — навсегда, стоя и не сходя с места.

Марк просветил фонариком дальше, в угол. На стене, на уровне человеческой груди, было пятно — чуть более тёмное, чем остальная штукатурка, гладкое, точно вытертое. Как будто к стене долго, часами, прислонялись — и тёрли её спиной, слушая что-то сквозь дерево.

— Что там? — прошептала Кира с лестницы.

— Пыль, — сказал Марк.

— А ещё?

— Пыль и пятно.

Он не стал говорить про следы. Не потому что боялся — потому что не нашёл слов, которые можно сказать вслух и которые от этого станут меньше правдой.

Они вернулись в спальню. Шаги наверху не возобновились. Но шаги и не собирались возобновляться — они как будто отступили, уступили, пропустили их вперёд. Легли. Кира заснула не скоро; Марк — не заснул вовсе, а просто выключил голову, как выключают свет.

И тогда из детской, тихо, почти шёпотом, но так, что оба услышали сквозь стены, раздался голос Лизы:

— Папа.

Не крик. Не зов. Шёпот — спокойный, ровный, почти рассудительный, как отвечают, когда их спрашивают во сне.

— Папа. Кукла смотрела на меня.

Марк поднялся — уже легко, уже как-то по-взрослому спокойно, не позволяя себе думать. Вошёл в детскую. Лиза лежала в кровати, засунув большой палец в рот — так она спала до шести лет и теперь делала это только во сне. Она спала. Глаза были закрыты. Дыхание — ровное.

Марк посветил фонариком на тумбочку.

Куколка в сарафане с косичками стояла — как и должна была стоять — лицом к окну. Он сам видел, как Лиза её ставила: спиной к кровати, лицом к окну. Он сам это видел. Он помнил это.

Он посветил чуть левее — туда, где окно, — и увидел только своё отражение в тёмном стекле. Потом посветил на куклу ещё раз. Косички. Сарафан. Спокойное вырезанное лицо.

Кровать. Лиза. Окно. Кукла.

Он стоял и считал до десяти. Потом до двадцати. Потом вернулся в спальню и лёг, и глаза его были открыты ещё долго.

Кира проснулась от солнца и от звука. Звук был хороший: Лиза внизу, на кухне, звенела ложкой о чашку и разговаривала с кем-то — с куклой, что ли, — беззаботно, нараспев, как разговаривают дети с теми, кто им не отвечает.

Кира спустилась. Умылась. Заварила чай. Спросила:

— А папа где?

— Наверху спит, — сказала Лиза. — Он же ночью на чердак ходил. Мама, а ты знаешь, что кукла смотрела на меня ночью?

— Лиза, — осторожно сказала Кира, — так бывает со старыми вещами. Они немножко двигаются, когда день и ночь меняются, от тепла и холода.

— Это не так, — спокойно сказала Лиза и отпила из чашки. — Она смотрела на меня. А утром она смотрит ещё лучше.

Кира поставила чашку. Вытерла руки о халат. Прошла по коридору в детскую — первую комнату справа от лестницы, — открыла дверь и увидела тумбочку.

Куколка стояла лицом к кровати.

Косички. Сарафан. Спокойное вырезанное лицо — но теперь не к окну, а прямо на спящее место, на подушку, на ямку в ней, оставшуюся от головы Лизы.

И — самое странное — на запястье у куклы, на тоненькой деревянной ручке, блестело что-то тёмное. Кира подошла ближе. Наклонилась. Посмотрела.

Это было слово.

«МОЙ»

Всего одно слово, вырезанное по дереву ножом — старым и неторопливым, аккуратно, по букве, снизу вверх, как вырезают те, кто привык работать без спешки.

Кира повернулась на звук. За её спиной, в конце коридора, у лестницы, стояла та самая большая кукла — с длинными деревянными руками и спокойным лицом. Она стояла на своём месте, под лестницей, в простенке.

Лицом к детской.

Кира не закричала. Она видела в жизни плохое и умела не падать. Она закрыла дверь детской, прошла в гостиную, села на подушечный штаб, взяла чашку, отпила, поставила чашку.

А потом крикнула наверх, ровно и громко, как кричат не от страха, а чтобы дом услышал:

— Марк! Марк, спускайся. Мне нужно, чтобы ты на это посмотрел. Сейчас.

Глава 3. Шаги наверху

Днём дом был на их стороне.

Это и сбивало. Днём он был обычным старым домом: тёплым, пахнущим деревом и прошлогодними яблоками, со скрипучими ступеньками, которые Марк пообещал себе укрепить, и с окнами, через которые в комнаты ложились длинные косые полосы света. Кира утром стёрла с куколки вырезанное слово — просто соскоблила кончиком ножа, никому не говоря, — и дерево под ним оказалось чистым, светлым, как будто слова там никогда и не было. Она долго держала куколку в руках и смотрела на неё, и куколка смотрела в ответ своим спокойным вырезанным лицом. Из всех вещей в доме она была самой невинной. Кира почти убедила себя, что им всё померещилось.

Почти.

Днём Марк поднялся на чердак — при свете, один, с рулеткой и фонариком, — чтобы всерьёз рассмотреть то, о чём ночью сказал жене двумя словами: пыль и пятно.

Следы.

Тонкая серая пыль лежала по всему чердаку ровным слоем, полувековым, нетронутым. И только посередине её прорезала линия следов — маленьких, узких, босых. От люка к дальней стене. Ни обратно, ни в стороны — ничего. Как будто тот, кто ходил, дошёл до угла и остался там.

Марк измерил рулеткой: от люка до стены выходило одиннадцать метров. Потом постоял, глядя на следы, и поймал себя на глупой, нелепой мысли: надо бы сфотографировать. Он сфотографировал. Посмотрел на снимок на экране — снимок не помогал. На фотографии это выглядело как пыль. Вживую это выглядело как то, что сюда ночью приходил кто-то, кому принадлежат маленькие босые ноги.

А ещё на стене, на уровне груди, было пятно. Вчерашнее гладкое пятно — сегодня оно было глубже. Штукатурка тут стёрлась до самой дранки, и Марк, присмотревшись, увидел в стёртом месте то, чего вчера разглядеть не успел: очертания. Пять длинных пальцев. Ладонь, прижатая к стене и повёрнутая немного внутрь, — не удар, не царапина, а именно прижатая. Так прижимаются, когда слушают через стену.

Он стоял перед этим отпечатком долго. Потом достал из кармана ключи, положил их ладонью на стёртое место — проверить, на что оно похоже на ощупь.

Стена была тёплая.

Не «нагрелась от солнца» — за этой стеной, этажом ниже, была детская. Лизина комната. И ладонь, судя по всему, лежала здесь не случайно: ровно над тем местом, где стояла Лизина кровать.

Марк убрал ключи, спустился с чердака и впервые за много лет пожалел, что у него нет рядом отца, которому можно позвонить и спросить — не про чердак, про вообще. Про то, как жить, когда в жизнь входит то, чему нет названия.

За ужином они договорились не говорить при Лизе.

Не сговаривались — просто оба это поняли без слов, как понимают, что ребёнку не надо знать про деньги, пока он ест суп. Лиза рассказывала про сад: она весь день провела там, под яблоней, и нашла в траве старый волчок, и выкопала стакан, и обнаружила, что если кричать в старую ржавую трубу, торчащую из земли возле забора, труба отвечает эхом — только эхо какой-то неправильное, глубокое, будто отвечают из-под земли.

— Я кричала туда: Ау! — рассказывала Лиза с набитым ртом. — И оно отвечало. Только долго-долго.

— Больше туда не кричи, — ровно сказала Кира.

— Почему?

— Потому что соседям.

— Соседи всё равно закрывают окна, — сообщила Лиза с тем удовольствием, с каким говорит человек, который всё знает. — Я сегодня мимо ходила, а тётя Нина меня увидела и зашла в дом и закрылась. Хотя я её даже не трогала.

— Откуда ты знаешь, как её зовут? — спросил Марк.

Лиза пожала плечами и занялась картошкой.

После ужина Марк и Кира вымыли посуду вдвоём — Лизу отправили в детскую собирать игрушки, — и, стоя у раковины, проговорили то, что копилось два дня.

— Следы на чердаке, — сказала Кира. — Я знаю. Ты ночью светил там, и я слышала, как ты молчал.

— Откуда ты…

— Я стояла на лестнице, — сказала она. — Я видела твой фонарик через щель люка. Я стояла и ждала, пока ты спустишься. И ты спустился и сказал: пыль. — Она выключила воду и вытерла руки. — Марк. Я сегодня соскоблила с куклы слово. Ты знаешь, что было написано?

— Ты мне утром сказала — царапина.

— Мой, — сказала Кира. — Одно слово. Вырезано ножом. Старым ножом, по дереву, снизу вверх — так вырезают люди, которые привыкли работать. — Она помолчала. — И кукла под лестницей. Большая. Утром она смотрела на детскую. Я её вчера видела, когда мы заезжали, — она смотрела на дверь. Я помню, Марк. Я всегда помню такие вещи.

— Знаю, — тихо сказал он.

— Я не сумасшедшая.

— Ты не сумасшедшая.

— Тогда скажи мне, что там на чердаке, — сказала она, — потому что я боюсь спросить. Я боюсь, что ты скажешь: следы.

— Следы, — сказал Марк. — Босые. Маленькие. От люка до стены. И на стене — отпечаток ладони. Он слушал, Кира. Кто-то стоял у стены и слушал Лизину комнату.

Кира не закричала, не заплакала. Она опустилась на табурет у стола, сложила руки и посмотрела на тёмное окно над раковиной, за которым стоял их новый сад, а в саду — чёрная громада яблони.

— Три семнадцать, — сказала она.

— Что?

— Сегодня ночью, когда начались шаги, я посмотрела на часы. Три семнадцать.

Марк присел рядом с ней. И сказал вслух:

— Завтра же я иду в район. Найду кого-нибудь из стариков. Спрошу про этот дом в лоб.

— Тебе никто не скажет.

— Скажут. Тот, кто продал нам дом, не сказал. Значит, скажет кто-то, кому мы не клиенты. Старики не боятся говорить с теми, кто уезжает. Они боятся говорить с теми, кто остаётся.

— Почему?

— Не знаю, — честно сказал Марк. — Догадываюсь.

Он лёг с будильником. Поставил на три пятнадцать — чтобы успеть. Кира легла рядом, не раздеваясь, в кофте и джинсах, и, когда он посмотрел на неё, сказала:

— Не начинай. Я иду с тобой наверх, и точка.

В три пятнадцать будильник зазвенел. Они выключили его и сели в кровати, в темноте, и стали ждать. Дом был тих. Тих так, как бывает тихо в морозную ночь в деревне: до звона в ушах, до собственного сердца.

В три семнадцать шаги начались.

Наверху, по чердаку: шаг, шаг. Пауза. Шаг, шаг. Ровно, неторопливо, размеренно — как ходит человек, который знает свой маршрут и не собирается его менять. И — Кира услышала

это раньше Марка, она была ближе к стене — между шагами что-то ещё: тихое, деревянное, шаркающее. Звук переставляемых вещей. Пересаживаемых. Как будто кто-то ходил по чердаку и расставлял по местам то, что хранилось там полвека.

Они встали. Марк взял фонарик, Кира — тяжёлый литой подсвечник с камина, не для того чтобы бить, а чтобы руки были заняты, — и они пошли по коридору к люку. Люк был приоткрыт, как и вчера, хотя вечером Марк закрывал его и придвигал к крышке картонную коробку. Коробка стояла в метре от люка — аккуратно, ровно, как её поставили.

Он открыл люк — и шаги наверху прекратились.

Не убежали. Не затопали, не грохнули, не стихли постепенно. Просто на очередном шаге — всё. Тишина. Как будто наверху кто-то замер, слушая их.

Марк полез первым. Кира — за ним, и её рука на его плече дрожала, но сама она дышала ровно.

Чердак лежал в лунном свете из слухового окна — серый, знакомый, пустой. Пыль, балки, короба, перевёрнутый ящик, швабра, ласточкино гнездо под коньком. Никого.

Но следы были другие.

Вчера — одна линия: от люка к стене. Сегодня их было три. Одна — та же, старая. Вторая — от стены обратно к люку, но не до конца: она обрывалась на середине чердака, среди пыли, как будто идущий растворился. И третья — тонкая, детская, вела не от люка и не к люку, а вдоль стены, вдоль самой стены, к тому самому месту, где стёрта штукатурка. К месту, где — этажом ниже, через балку и доску — спала Лиза.

— Марк, — прошептала Кира.

— Я вижу.

Он подошёл к стене. Фонарик упал на стёртое пятно — и Марк отступил на полшага, потому что пятно изменилось. Вчера это была стёртая штукатурка. Сегодня в дранке, в самой древесине, проступал отпечаток. Не нацарапанный, не нарисованный — вдавленный, как будто в пластилин вдавили ладонь и оставили её так на пятьдесят лет. Пальцы длинные, узкие. Взрослые.

Мужская рука.

— Это не ребёнок, — прошептала Кира за его спиной.

— Нет, — сказал Марк. — Не ребёнок.

— А следы — детские.

— Да.

— Марк. — Кира сглотнула. — Там двое.

Он не ответил. Не потому что нечего было сказать — потому что ответ был, и оба они его знали. На чердаке ходил ребёнок. А у стены стоял и слушал взрослый.

Или один делал и то и другое. По очереди.

— Уходим вниз, — ровно сказал Марк. — Сейчас же.

Они спустились. Марк придвинул к люку не коробку, а тяжёлый сундук из прихожей — весь, как был. Кира стояла внизу, не поднимая головы, боясь смотреть в темноту чердачного проёма. И когда крышка легла на место и Марк спрыгнул, она сказала — тихо, очень тихо, так, что услышал только он:

— Он слушал нашу дочь. Стоял над её головой и слушал, как она дышит.

— Кира…

— Я всё пойму, — сказала она, и голос у неё был твёрдый, твёрже, чем он ожидал. — Дом. Старые деревяшки. Что угодно. Но когда кто-то стоит над кроватью моего ребёнка и слушает её дыхание — это уже не дом. Это уже кто-то.

Внизу, в детской, тихо спала Лиза — в своей кроватке, на белой подушке, с маленькой деревянной куколкой в сарафане, которую она вечером взяла с тумбочки и положила под бок.

Кира посмотрела на неё в дверях долго — на спящую дочь, на поднятую коленку, на разметавшуюся прядь на щеке, — и впервые за два дня у неё дрогнул подбородок.

— Я заколачиваю люк, — сказал Марк. — Завтра с утра. Наглухо.

— А сегодня?

— Сегодня я не сплю, — сказал он. — Ты спи. Я послежу.

Он не спал до утра. Сидел в коридоре на табурете, спиной к стене, с фонариком на коленях и телефоном в руке. И под утро, когда за окнами посерело, Марк услышал из детской — единственный раз за всю ночь — то, чего не услышал бы, если бы спал.

Лиза во сне, не просыпаясь, произнесла — спокойно, ласково, как отвечают старому знакомому:

— Хорошо. Мы будем тихие.

И повернулась на другой бок.

Утром Марк полез в подвал за досками — заколачивать люк требовалось чем-то настоящим, не картонкой, — и, вытащив из-под лестницы старый ящик с инструментом, остолбенел.

У дальней стены подвала, там, где вчера стояли пыль и старый хлам, стоял сундук. Большой, окованный, с медными скобами. Вчера его здесь не было — Марк заходил в подвал дважды, с фонариком, осматриваться.

Он стоял вплотную к стене, накрытый сверху пыльным платком, и на крышке его, вырезанное по дереву, читалось слово:

«ГОСТИ»

Глава 4. Прежний жилец

Марк спустился в подвал утром — за досками, чтобы заколотить чердачный люк, — и вместо досок нашёл сундук.

Он стоял у дальней стены, там, где вчера были пыль, ящики и старый хлам. Большой, окованный, с медными скобами, потемневшими до зелени. На крышке, вырезанное по дереву, читалось слово: «ГОСТИ». На сундуке лежал пыльный платок — аккуратно, по центру, как накрывают тесто, которое должно подойти.

Марк постоял перед ним, не двигаясь. Подвал был холодный и тёмный; только от открытой двери падала косая полоса света, и в этой полосе медленно кружилась пыль. Потом он развернулся, поднялся наверх и позвал жену — ровным голосом, каким вызывают сантехника.

— Не тот сундук, — сказала Кира, спускаясь следом. — Ты им закрывал люк. Другой, из прихожей.

— Не тот.

— Он не был здесь вчера. Мы осматривали подвал в первый же день. Тут были пыль и хлам.

— Тут были пыль и хлам, — согласился Марк.

— А теперь — сундук с надписью гости. — Кира сглотнула. — Марк, он нас впускает. Мы для него гости. Он нам постелил.

Оба понимали, что открыть сундук нужно. Оба боялись. Боязнь была не перед содержимым — перед самой ясностью: пока сундук закрыт, это просто старая мебель. Откроешь — и всё станет историей, с которой придётся жить.

— Лиза? — спросил Марк.

— В саду. На качелях. Я вижу её из окна.

— Тогда открываем.

Крышка поддалась с долгим сухим стоном — медь скрипела, как старый замок. Изнутри потянуло не прелью, а сухостью: запахом старой бумаги, старого сукна, старой жизни, которая долго ждала в закрытой коробке.

Внутри лежали три стопки. Сверху — кипа газет, перевязанная бечёвкой. Под ней — мужская одежда, аккуратно сложенная: тёмный пиджак, косоворотка, брюки, сапоги, кепка. Всё потемневшее от времени, но не сгнившее — сухой подвал сберёг вещи лучше, чем сберегают их в музеях. И под одеждой — маленький футляр из фанерки.

Марк вынул газеты. Развернул верхнюю.

«ПРИЗЫВСКОЙ ВЕСТНИК», 1974 год. Цена две копейки.

Он нашёл её на третьей газете — в номере за октябрь семьдесят четвёртого, на первой полосе, набранную крупно, как писали тогда о самом важном:

«КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР НАЙДЕН МЁРТВЫМ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ».

— Читай вслух, — попросила Кира.

Марк прочёл:

— «В минувшую пятницу в собственном доме на Крайней улице обнаружен мёртвым мастер-кукольник Григорий Андреевич Молчанов, житель нашего города, широко известный не только в районе, но и далеко за его пределами. По предварительным данным, смерть наступила несколько суток назад; причина смерти устанавливается. Гражданин Молчанов, сорок девять лет, более двадцати лет изготовлял деревянные куклы и механические игрушки для детей нашего города. Известен мастер и своими механическими театрами, не раз показывавшимися на районных праздниках…»

— Стоп, — сказала Кира. — Перечитай последнее.

— «…Известен мастер и своими механическими театрами, неоднократно показывавшимися на районных праздниках».

— Механические театры, — повторила Кира. — Он строил театры. Механические.

— В смысле — как шарманки?

— В смысле — дома. Куклы, которые двигаются. — Она посмотрела на потолок подвала, потом на лестницу, ведущую наверх, в дом. — Марк. Он же собирал дом. Это всё, что вокруг нас. Тридцать кукол, чердак, стены. Он собирал дом как механизм.

Марк не ответил. Он листал газету дальше — статью дочитывали уже молча, каждый про себя.

Дальше шла биография — короткая, как её пишут в заметках. Григорий Молчанов родился в городе, выучился столярному делу, женился. Жена — Анна. Работала в больнице. В шестидесятых родился сын — имя ребёнка в заметке не назвали, только малолетний сын. Молчанов делал куклы для всего города: на ёлки, на ярмарки, на дни рождения — и без денег, если семья была бедная. «Дети звали его Гришей-мастером и узнавали на улице по походке мастера: тяжёлой и в то же время лёгкой, как у человека, который носит в руках чужие игрушки и боится их уронить».

— Вот это писали, — тихо усмехнулся Марк, без веселья. — Про походку.

— Дальше.

Дальше статья меняла тон. Резко, как будто писали её два человека. «Счастье семьи Молчановых оборвалось. От скарлатины умер малолетний сын мастера. Вскоре после этого семья, по непроверенным данным, покинула город; дом был закрыт. Соседи сообщают, что мастер перестал брать заказы и не выходил к людям. О дальнейшей судьбе…»

И всё. Дальше — белый лист. Прямо посреди фразы, по линейке, аккуратно вырезано. Не порвано — вырезано лезвием, ровно, сантиметр в сантиметр.

Марк перевернул страницу, потом всю газету. Белое. Он развернул остальные газеты — в них той статьи не было.

— Вырезали, — сказала Кира. — И даже не в спешке. По линейке. Он сам вырезал. И хранил здесь, в сундуке, вместе с одеждой.

— Вместе с одеждой, — повторил Марк и посмотрел на сложенный пиджак. — С вещами. Он берёг это.

— От кого берёг? От людей?

— От себя, наверное, — сказал Марк. — Чтобы не забыть.

Кира осторожно взяла сапог — он был тяжёлый, домашний, правый, с распаренным задником, как будто хозяин носил его годами, — и положила на место. Потом сняла с крючка внутри крышки кепку, повернула и замерла.

— Марк.

На подкладке кепки, выцветшими нитками, было вышито: «Г. А. М. Крайняя, 1». И под этим — более свежими, неровными стежками, другим почерком, — нет, тем же, но торопливым, дрожащим: «вернусь».

— Вернусь, — прочла Кира вслух. — Не уходите, не прощайте. Вернусь.

Они молчали. В подвале капнула вода — где-то старая труба, отдельно от всего. И в этой капле было что-то такое размеренное, что Марк поймал себя на мысли: она считает. Капля ведёт счёт.

— Я тебя спрошу, и ты мне ответь честно, — сказала Кира. — Пиджак, косоворотка, сапоги, кепка. Всё в одном сундуке. Человек умер — и куда девается его одежда? Её разбирают. Её отдают. Её носят. Её выбрасывают. Здесь она лежит полвека, и рядом лежит вырезанная из сундука газета. Ты что-нибудь понимаешь?

— Понимаю, — сказал Марк. — Что-то здесь не умерло до конца. И ходит в его вещах.

Он закрыл крышку. Медные скобы легли со звуком, похожим на щелчок.

Наверху они положили газеты на кухонный стол — вытертый, свежий, со своими чашками и сахарницей, — и вдвоём перечитали заметку ещё раз. За окном резвилась Лиза. Дом вокруг был тёплым, днём — просто старым домом, и это обманывало больше всего.

— Скарлатина, — сказала Кира. — Сейчас её лечат за неделю. А тогда…

— Тогда умирали. — Марк кивнул. — И отец сошёл с ума от горя. Это бывает. Бедный человек.

— Бедный, — согласилась Кира. — Пока не начинаешь считать: его сын, его жена… — она запнулась, — а потом ещё соседский мальчик. Которого, судя по тому, что вырезано из статьи, никто в городе так и не сосчитал.

— Ты думаешь…

— Я не знаю, что я думаю. — Она посмотрела в окно, в сад, где Лиза качалась на качелях под яблоней — высоко, с визгом, разгоняясь всё сильнее. — Я знаю, что под той яблоней что-то лежит. Я знаю это так же точно, как знаю своё имя.

Лиза вошла в кухню за обедом — растрёпанная, с травинками в волосах, с яблоком в руке, — и застыла на пороге.

— Что это? — спросила она.

— Газеты, — сказал Марк. — Старые. Из сундука в подвале.

— Из сундука с гостями? — уточнила Лиза.

— Почему с гостями? — быстро спросила Кира.

— Так написано. — Лиза пожала плечами и подошла к столу. Она не стала тянуть газеты, как тянут дети всё подряд; она смотрела внимательно, сверху, как смотрят взрослые на чужие бумаги. — А это кто?

На верхней газете, рядом со статьёй, была фотография — чёрно-белая, чуть выцветшая. Мужчина у верстака: высокий, худой, в фартуке, с серьёзным лицом и большими тёмными глазами. В руках — деревянная кукла. На заднем плане — полка, а на полке куклы, ряды, как солдаты.

Лизин палец остановился рядом с фотографией. Не касаясь.

— Это дедушка, — сказала она.

— Это мастер, — поправил Марк. — Кукольник. Его звали Григорий.

— Дедушка Гриша, — легко согласилась Лиза и отпила компота. — Он сказал, что ждал нас очень давно.

В кухне стало очень тихо. Часов на стене не было, но от этой тишины казалось, что где-то тикают.

— Кто сказал? — спросила Кира. Голос у неё был ровный. Ровнее, чем дышать.

— Дедушка, — сказала Лиза, как говорят очевидное. — На фотографии. Он сказал, что ждал нас очень давно. Что теперь мы приехали, и можно играть.

— Когда он сказал? — Марк наклонился к дочери. — Лиза, посмотри на меня. Когда?

— Когда мы заезжали первый раз, — ответила она просто. — Я ему сказала: здравствуйте. А он сказал, что ждал нас очень давно. — Она поставила чашку и сделала то, чего они боялись больше всего: улыбнулась. — Он смеётся глазами. А лицом он не умеет. У него пуговицы.

— У кого пуговицы? — спросила Кира.

— У него, — сказала Лиза на ухо, будто сообщая секрет. — Вместо глаз. Он хороший. Он мне сказал, что куколки — это его дети и что он отдаст нам одну. Ту, что я выбрала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.